

Н. М. ЯДРИНЦЕВ.

СИБИРСКІЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

ЦѢНА 1 РУБ. 50 КОП.

Очерки перваго сибирскаго землячества
въ Петербургѣ.

Издание Красноярскаго Союза Общественников-Автономистов.

Сибирскія литературныя воспо- минанія*).

I.

Новая эпоха русской жизни и акт нашего самосознанія.—Университет 60-х годов.—Первое сближеніе сибиряков.—И. и его вліяніе.—Землячество.—Предшественники студенты 50-х годов.—Н. С. Щукин и его роль в университѣ.—Его характер, знакомство, дневники.—Вліяніе его в Сибирь.—Щукин, как сибирскій писатель.—Переворот в концѣ жизни.—*De mortuis aut bene...*

Акт нашего мѣстнаго самосознанія совпал с великим актом пробужденія русской жизни. Мы помним это время. Не умолк еще гулъ послѣдняго пушечнаго выстрѣла на Крымском полуостровѣ, еще пахло дымом и он не успѣлъ разсѣяться, подобно туману, послѣ кровопролитной войны, а над русскою землею всходило яркое солнце, солнце новой жизни и обновленія. Оно встрѣтило нас, когда мы явились с нашей далекой родины в университеты в концѣ 50-х годов. Нечего говорить, что университет, особенно петербургскій, играл тогда роль фокуса, отражавшаго умственную жизнь всего общества, и был центром обмѣна идей между лучшими представителями стараго поколѣнія и воспримчивыми поколѣніями новаго.

Мы, сибиряки конца пятидесятих и начала 60-х годов, перезнакомились в университетѣ. Землячество наше и прежде давало себя чувствовать в университетах, напримѣр, в казанском, но в Петербургѣ до 60-х годов слишком мало было наших, чтобы группироваться. Сохранились воспоминанія о немногих предшественниках: о Тыжновѣ, казакѣ математикѣ, рано умершем. Сидоровѣ тоже математикѣ, бывшем в педагогическом институтѣ, впоследствии в университетѣ, и Н. С. Щукинѣ**), котораго мы и наши товарищи хорошо знали. В 60-м году в Петербург нахлынула масса казанцев, преимущественно с закрытаго камеральнаго факультета, наконец, прибыло много молодых людей из Сибири. Мы перезнакомились. Казанцы были добрые малые, беззавѣтные бурши, прекрасные товарищи, пѣвцы, любители кутнуть, но мало развитые: у них слышались только казанскія воспоминанія о какой-то „ласточкѣ“, о кутежах в гончарной, о силачах, о каких-то боях с Рѣзюповым, во главѣ, о столкновеніях с полиціей, в концѣ, обыкновенно, они пили пиво и пѣли казанскія студенческія пѣсни: „стою

*) „Восточное Обозрѣніе“. 1881 г. № 26, 33 и 34.

**) Н. С. Щукин, котораго касаются эти воспоминанія, племянник Н. С. Щукіна, члена географическаго общества.

один я пред избушкой" и проч. Они также привезли в Петербург с собою и наклонность поиграть в карты, что ужасно, помню, шокировало петербургских сибиряков.

Не помню, как пришла мысль сгруппироваться нам и познакомиться. Но эта мысль, кажется, принадлежала первому П-у*), личности, которая выдавалась своими способностями, серьезными занятиями, замѣчательным умом и любовью к Сибири. Я познакомился с П. через Шукина, давшего мнѣ к нему и другим студентам не сибирякам письма.

Я застал П. в квартирѣ на Васильевском островѣ; помню его, почти всегда разхаживавшаго с книгою по комнатѣ, увлеченнаго естествознаніем, но читавшаго также много по тогдашней литературѣ и знакомаго уже с общественными вопросами. С перваго разговора, я помню, рѣчь зашла уже о сибиряках в Петербургѣ и о необходимости перезнакомиться. Надо замѣтить, что это знакомство не имѣло в виду вовсе какой нибудь утилитарной и практической цѣли в родѣ кассы, взаимной поддержки, нѣтъ! П. проповѣдовал сближеніе, как потребность чисто платоническую—видѣться с земляками, вспоминать родину и придумать, чѣм мы можем быть ей полезны. Идея сознательнаго служенія краю в тот момент, когда в Европейской Россіи, пробуждалось тоже самосознаніе, вот идея, которая легла в основу нашего сближенія. Я помню, что в наших разговорах с П. мы часто касались этой темы. Мы отдавали друг другу отчет о наших привязанностях, говорили, как о рѣшенном вопросѣ, о нашем возвращеніи домой, хотя у меня не осталось близких родственников на родинѣ, говорили, что тѣ же намѣренія нужно поддерживать в других. П. уже много читал и начинал писать о Сибири.

Знакомство мое с другими земляками началось в университетѣ. Их было уже не мало. Понемногу мнѣ представлял П-нин то студент-юриста-сибиряка, то естествовика. Здѣсь были юристы П-фильев, братья П-новы, Кр-ков, Б-скій, братья Л-с-вы, Ш-ков технолог. П. при всей своей кабинетности и несвѣтскости, однако, обладал завидною способностью не только сближаться, но угадывать характер и способности у земляков (талант, всю жизнь не оставлявшій его и давшій не мало полезных услуг родинѣ). Одного он мнѣ рекомендовал, как будущаго техника в Сибири, другого, как талантливаго музыканта, третьяго, как химика, иных он отличал за их мягкую, симпатичную натуру. Он умѣл сближать сибиряков и не в одном университетѣ. В академіи художеств у него был уже знакомый художник из Иркутска Песков, в это же самое время был в Петербургѣ и Федоров-Омулевскій, с которыми П. познакомился через Шукина.

На Н. С. Шукинѣ я хочу остановиться, как на родоначальникѣ. Эта личность была весьма энергичная и видная в свое время, я его видѣл уже на родинѣ, возвращавшимся из университета, но в университетском кружкѣ о нем сохранились живыя воспоминанія. Я коснусь біографических подробностей, так как это был сибирскій писатель и патриот, ему обязаны были многіе, если не развитіем, то первым толчком: сколько я помню, на юношей он производил сильное впечатлѣніе.

*) Г. Н. Потанин.

Вѣчно—подвижной, неугомонный, впечатлительный, хватающій жадно на лету все новое, необыкновенное, и быстро усваивавшій, он выражал тип любознательнаго и воспріимчиваго сибиряка. Усвоив что-либо, он дѣлался фанатическим поклонником и апостолом новой идеи, часто не переварив ее вполне. Рѣшительный, лаконическій тон, умѣнье обрѣзать противника, страстность и горячность, которую он вносил, производил впечатлѣніе человѣка убѣжденнаго и непреклоннаго. Самая фигура его соотвѣтствовала роли. Высокій, со станом, немного сутуловатым, с большой курчавой головой, с открытым лицом, со вздернутым немного носом, в очках, с располагающей улыбкой, звучным голосом и увѣренным смѣлым взглядом, он говорил торопясь, иногда с сильным придыханьем, выразительной жестикуляціей: такова была его внѣшность.

Вѣчная суетливость довершала впечатлѣніе и давала вид, будто он вѣчно был обременен дѣлами. Он собирал ежедневно массу новостей и впечатлѣній, успѣвал побывать в университетѣ, в разных редакціях, в академіи художеств, в книжных лавках, в библіотеках, на рынкѣ и являлся всегда усталый к товарищам, но обремененный новостями. Всякій день он, кромѣ того, писал дневник. Общественная жизнь Петербурга его волновала и он отдавался ей с увлеченіем; он слѣдил с жадностью за слухами о реформах и посвящал в них других. Для товарищей это был клад. Петербургскую жизнь он знал до мелочных подробностей и считался практическим человѣком: устроить, найти квартиру, посвятить сибиряка в петербургскую жизнь--было его дѣло. Это был тип Рудина, как тип общественный, превосходный студент-товарищ, и невообразимый Дон-Кихот в своих приключеніях. Он жил кипуче и будил жизнь в других.

О людях, которые не занимались современными вопросами, отзывался с презрѣніем. Запас знаній Щукина был крайне невелик, впоследствии оказалось, что убѣжденія его не были глубоки, он отдавался всему по наслышкѣ, вѣря на слово хорошему человѣку, и того же требовал от других.

П. хорошо знал Щукина и, как весьма проницательный человѣкъ, оцѣнил его характер с достоинствами и недостатками. Он знал массу о нем анекдотов, которые передавал мнѣ впоследствии с веселым юмором. Он представлялъ, как Щукин обыкновенно, запыхавшись, влетал в кухмистерскую, садился ѣсть суп и в то же время забирал себѣ всѣ газеты под локоть, наскоро читая и хлебая. Тут же он дѣлился новостями. Щукин начиналъ писать, писал он преимущественно замѣтки обличительнаго свойства, иногда на счет недостатка фонарей на каком-нибудь мосту, по поводу какого-нибудь уличнаго происшествія, но придавал этому огромное значеніе с комическою важностью.

Раз он открыл и описал какого-то доктора, лѣчившаго корсетами. Разказ этот обратил вниманіе публики. Придя по обыкновенію в кухмистерскую, Щукин с своему величайшему удивленію услышал разговор посѣтителей об этой статьѣ, он принялъ живое участіе и не отказал себѣ в удовольствіи объявить им автора. Это был его триумф.

Книг он закупал много по случаю, зная всѣх букинистов, но читать не успѣвал. Помню, как впоследствии он забраковал в провинціи одну большую частную библіотеку, потому что в ней были только

книги до 50-х годов. „Все это—старый хлам и дрянь,—говорил он,—ни одного живого слова“. Практическая его сторона выражалась массой Дон-Кихотских подвигов. Здѣсь он спасал юношу от какого-нибудь тирана, там брал под покровительство угнетенную невинность. Впоследствии он так же женился, брак его был плодом рыцарского великодушія: он спас дѣвушку от позора. Кромѣ того, пристраивал чужія статьи, знакомился с литераторами и даже покупал на рынкѣ по случаю дешевыя вещи. Раз П. встрѣтил его с массой старых книг, но тут же он нес какія-то заслонки и вьюшки. — „Это вы зачѣм купили, Н. С.“?—спросил изумленный П. — „Нельзя было упустить! Необыкновенно дешево!“—отвѣчал простодушно Шукин с серьезным видом и пролетѣл в свою квартиру.

У него хватило смѣлости раз в Лѣтнем Саду подойти к Государю и объявить, что он сибиряк и не имѣет средств к существованію, и ему было выдано единовременное вспомошествованіе в 100 или 200 р.

Дневник Н. С. Шукин вел аккуратно. Впоследствии этот дневник, гдѣ записывались всѣ его встрѣчи и разговоры, которому он придавал особое значеніе, как матеріалу для литературных мемуаров, много причинил волненій и страданій Шукину.

Миѣ рассказывал П. по поводу этого дневника забавную сцену. У Шукина начался роман, который, при всей своей солидности, он не мог скрыть; П., видя каждый шаг жизни, всѣ ощущенія пылкаго Шукина, не мог не замѣтить этого. Сам П., был очень сосредоточенный человек, и если он замѣтил, что Шукин уколот стрѣлою амура, значит, это сильно давало себя чувствовать.

Раз П. намекнул Шукину на его особенное душевное состояніе. Шукин воспрянул, как ужаленный:— „Вы как это знаете“?

— Так, знаю!—отвѣчал с спокойной улыбкой П.—Вы, значит, прочли мой дневник?—вдруг подозрительно вскинулся Шукин на добродушнаго товарища. Тот отвѣчал, чтобы подшутить над Шукиным, что он дѣйствительно полюбопытствовал. Боже мой! как вспылал Ш. Он не щадил выраженій, доказывал П., как это подло, не деликатно, свел вопрос на общественную почву. П. все выдержал спокойно с внутренней улыбкой и в концѣ, признавъ всю справедливость доводов Ш., он заявил, что должен сознаться, что дневник не читал. Вспыльчивый Шукин не раз попадался. Раз, увидя какую-нибудь неправду и обличая, Шукин накидывался со всѣм пылом молодого негодованія, спѣшил заявить злоупотребленіе, напечатать его и не уgomонялся, пока не выводил всего наружу. Это был настоящій тип обличителя конца 50 годов.

Понятно, какой эффект произвела эта личность, появившись в сибирских дореформенных городах двадцать лѣтъ назад. Мы помним его проѣзд через Томск, он гремѣл и производил эффект; хотя, не кончив курса в университетѣ, он был просто уѣздный учитель, притом не прибывшій еще к мѣсту своего назначенія (первоначально он был назначен чуть ли не в Кузнецк, послѣ перепросился в Томск, а затѣм уѣхал в свой родной город, в Иркутск). Появленіе этого новаго типа с его живым характером, запасом новых взглядов, с его шумом, с запасом петербургских новостей и потребностью распространять их, с повѣствованіем о „новой эрѣ“ имѣло громадное значеніе для окру-

жающей среды, погруженной в сон. Шукин даже не был настоящим представителем какой либо научной и философской школы, эрудиція его была необширна, но что запечатлѣвалось в нем, тому сразу же отдавался. Он был дилетант, и подвижная жизнь в Петербургѣ ему мѣшала учиться. Тѣм не менѣ для окружающей среды он был передовой человѣкъ-будильник. Являясь в сибирскій сонный город, он сразу обѣгал всѣх, знакомился с гимназіей, со всѣми выдающимися личностями и подвергал все поголовной критикѣ. Осмѣивал ретроградов, кричал против взяточничества, говорил с жаром о „прогрессѣ“ и увлекалъ юношество. Он проповѣдовал ему о новой жизни, внушал уваженіе къ наукѣ и литературѣ, рекрутировал и обязывал всѣх ѣхать в университет, поощрялъ проблески любознательности, открывал литературныя призванія, устраивал дебаты, проектировал литературныя вечера и т. д. Все это было его кумиром. Ему обязана была в Томскѣ масса гимназистов своим просвѣщеніем и воодушевленіем къ полученію высшаго образованія (братья С—вы, Н—в и др.). Для окружающей среды он был положительно грозою и Ювеналом. Помню, как он в одном домѣ в присутствіи старых чиновников бичевал взяточничество. Один из чиновников, у закуски, взявъ на вилку какую то рыбу, хотѣлъ смягчить эти обличенія и замѣтил:— „Ну не все же взятка, есть и добровольныя приношенія.“ — „Это—то же воровство, только под прикрытіем,“ гаркнулъ рѣзко Н. С. Так чиновник с рыбой на вилкѣ и застыл. Я позволю себѣ уже исчерпать всѣ воспоминанія о Шукинѣ, как сибирякѣ. Шукин перезнакомился в Томскѣ со всѣми выдающимися образованіем и умом людьми, между прочим, с отставным кузнецким смотрителем училища, знатоком края и народа, замѣчательным самородком Д-ным, служившим на частных пріисках и в конторах, с Ольгой Павловной Я., впослѣдствіи писательницей, с сословным Б—ным и с др., так же как и с окончившими курс гимназистами.

В Томскѣ он устраивал литературныя вечера и соединялъ всѣх, кто интересовался литературой. Здѣсь встрѣчались юноша и старик, приказчик и учитель. Литературныя вечера скоро однако разстроились, и благодаря горячности, он поссорился даже со своими прозелитами. Помню, как он безпощадно обличал одну дѣвушку-учительницу, бывшую весьма преданной ему. Когда он уѣхал в Иркутск, в среду, гдѣ было болѣе образованных людей, он потускъ, как то стушевался, наконец, запутался в мѣстных интригах и, кажется, не пользовался симпатіями. Звѣзда его закатилась. Скажем о его литературной дѣятельности. Шукин всю жизнь себя считал литератором и писал много. Едва ли он пропускалъ какой-нибудь день, чтобы не писать, это было его страстію, но в литературѣ вообще, как и в мѣстной литературѣ, значеніе его было не велико, тѣм не менѣ он принадлежал къ первым писателям, у которых зародилось страстное желаніе создать в Сибири свою мѣстную печать.

В Петербургѣ он писал только мелкія обличительныя статьи общаго характера. Он был знаком с Добролюбовым, но знакомство это было болѣе шапочное; Шукин болѣе говорил о В. С. Курочкинѣ и угрожал всегда „Искрой“. Из Сибири он посылал огромныя, можно сказать, многотомныя обличительныя статьи, которыя не печатались, не соотвѣтствуя ни обѣму, ни важности предмета.

В Иркутскѣ он издал небольшую книжку „Сибирскихъ разсказовъ“, куда, помнится, вошел его очеркъ и еще двух-трехъ начинавшихъ писателей, между прочим, разсказъ „Сибирячка“ Омулевскаго. Это была первая весьма робкая литературная попытка. Книжечка эта составляетъ библиографическую рѣдкость. Затѣм, кажется, в 1866 году он помѣстилъ въ „Дѣлѣ“ историческій очеркъ о слѣдователѣ Крыловѣ из публичной лекціи, читанной имъ в Иркутскѣ в 1864 или 1865 г. г. Матеріалъ он получил от своего отца, директора гимназіи, С. Шукина, весьма просвѣщеннаго старика. Всѣ остальные литературныя попытки покойнаго Шукина, умершаго внѣ Сибири, были неудачны.

Мы обрисовали эту личность в связи съ петербургскими воспоминаніями в лучшую эпоху его жизни.

Черезъ нѣсколько лѣтъ он так радикально измѣнился, с ним произошел такой патологическій переворотъ, какой едва ли кто мог предполагать. Из этого Рудина, новатора, обличителя получился мрачный мистик, совершенно помѣшавшійся, смутно припоминавшій прошлое, страшившійся его, проклинавшій съ суевѣрнымъ ужасомъ. Согбенная большая фигура съ чѣты-минеей в рукахъ, съ лицомъ ханжи, съ какими то кадильницами и пучкомъ лука под мышкой была ужаснымъ контрастомъ когда то величавой фигурѣ Рудина-пропагандиста.

Послѣдняя эпоха его жизни сопровождалась ослабленіемъ умственныхъ способностей и нравственнымъ паденіемъ. Подобно многимъ студентамъ-юношамъ, бойкимъ на словахъ, съ жаромъ сердца, он не зналъ, что сдѣлаетъ из него жизнь. Она къ счастью или къ несчастью не показываетъ впередъ своего зеркала. Не бросимъ камнемъ, однако, в эту жизнь и не будемъ судить человѣка, сокрушеннаго и побѣжденнаго. Что удивляться, что жизнь ломается в несчастіи, что люди, какъ деревья, сохнутъ и умираютъ безъ свѣта, что за смертію всего живого начинается разложеніе. Поучительнѣе то, что натуры, даже не особенно сильныя и богато одаренныя, подъ лучами общаго солнца в лучшія эпохи оживаютъ, вдохновляются и становятся двигателями жизни.

Шукинъ былъ сынъ своего времени, конца 50 годовъ, на немъ былъ блескъ, хотя заимствованный из этой атмосферы, гдѣ он получил жизнь. Это была эпоха обновленія русской жизни, подъ которою мы жили тогда и распускались. Эпоха незабвенная, гдѣ все вѣяло пробужденіемъ умственной жизни и лучшихъ человѣческихъ инстинктовъ. Маленькіе люди становились гигантами, а то и героями, потому что окружающее поднимало духъ, вдохновляло. Здѣсь можно было наблюдать человѣческую красоту, одухотворенною идеею. Этой эпохи коснулся Тургеневъ в своихъ типахъ и герояхъ, хотя, можетъ быть, эти герои были также обыкновенные люди. Вспоминая своихъ земляковъ, признавая ихъ продуктомъ времени, мы не преувеличиваемъ ихъ личныхъ качествъ.

Свѣтъ, лившійся щедрымъ потокомъ, не могъ не коснуться и душевнаго міра дѣтей страны далекой, но хранящей в себѣ инстинкты жизни, потребность чувствовать и мыслить.

II.*)

Когда жизнь звучитъ своими грустными мелодіями, когда чувствуется тяжело, мрачно и какъ то безнадежно, когда видишь только

*) „Восточное Обозрѣніе“ 1884 г. № 26, 33, 34.

умирающія даровитыя силы, а на смѣну не идет молодой титан, новая умственная сила, богатое дарованіе, напротив, видишь только сѣрую посредственность.—невольное воспоминаніе влекут вас к прежнему времени, когда все было молодо, полно сил, надежды и мечтаній, когда, может быть, под влияніем собственной молодости все залито было ярким солнечным свѣтом, всюду царила весна, иначе жило общество, иная была молодежь, историческая пора была иная. Впрочем, может быть, все это была иллюзія, сон молодости и ничего в сущности не было, ничего не переживалось? Может быть, но к этим воспоминаніям все таки что то инстинктивно влечет нашего брата, человѣка другого поколѣнія. Вот на этом основаніи я возстановляю нить своих воспоминаній о товарищах и первой группировкѣ наших земляков в Петербургѣ. Я прервал эти воспоминанія, когда П.*) дѣлился со мной мыслью сгруппировать сибиряков в Петербургѣ и направить их занятія на пользу родины. В бесѣдах с П. я не только сходилсѧ, но увлекался его умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником; он же опредѣлил мое призваніе. Я фанатически послѣдовал его патристической идеѣ и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группированія. Всѣ охотно раздѣляли эту мысль—иные сознательно, иные инстинктивно. Идея соединиться сибирякамъ в Петербургѣ и перезнакомится привлекла своею новизною и оригинальностью. Я замѣчал, что вообще мои земляки чувствуют свою близость и родство только на чужбинѣ, но на родинѣ это весьма рѣдко дает себя чувствовать, развѣ только тогда, когда среди сибиряков является наѣзжій „человѣкъ“ и подзадорит их, ругая Сибирь. В Петербургѣ картина сближенія разных представителей окраины имѣет в себѣ нѣчто особенное. Не мудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину, если они вдобавокъ воспитались въ одной гимназіи и купались одинаково в холодных водах Ангары или Оби;—но весьма любопытно было видѣть, как соединялись представитель Камчатки, якут, с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичем и чувствовали, что у них бьется одно сердце. П. употреблялъ старанія перезнакомить всѣх и наводил всегда справки, нѣтъ ли в каком учебном заведеніи еще земляков.

Сближеніе началось. Наконец, мы устроили сибирское собраніе в какой то большой студенческой квартирѣ.

Я помогал П. со всѣм стараніем. Мы ждали, какой результат будет имѣть это сближеніе. Сходка вышла шумная и оживленная, как всегда бывают студенческія собранія; в ней трудно было, однако, уже не замѣтить земляческих симпатій, хотя все это было крайне хаотично, нескладно и за шумом и разнообразіем знакомств трудно было что нибудь разобрать. Собралось, помнится, человѣкъ 20. На этой сходкѣ видѣл бурята Пирожкова, деликатную и уже интеллигентную личность, джентльмена в цилиндрѣ, но с бурятским лицом; он изучал Гегеля и интересовался философіей,—как посвятил меня П.; здѣсь я познакомился с И. В. Федоровым-Омулевским веселым, розовым юношей, с золотыми кудрями до плеч в художественном бархатном сюртучкѣ; здѣсь присутствовал симпатичный юрист Н. М. П., с рафаелевской го-

*) Г. Н. Потанин.

ловкой, цѣлая группа казанских буршей шумѣла с своей необузданной веселостью; привычка воспитаннаго петербургскаго дендизма мѣшалась с студенческой развязностью и иногда неуклюжестью семинариста. Среди сибиряков в первый раз были и не сибиряки—знакомый П., товарищ студентов, незабвенный художник Джогин, артист—художник в душѣ, выступавшій с талантливыми пейзажами; не помню, был ли здѣсь И. И. Шишкин, тоже наш знакомый; наконец, присутствовал какой то филолог Смирнов.

Студенческія сходки в то время в Петербургѣ были не рѣдкость. Университет и столица этой эпохи представляли своеобразный, может быть, исключительный вид. Литераторы и студенты пользовались общей симпатіей: это были герои дня. К университету подѣзжали блестящіе экипажи аристократов, жаждавших послушать знаменитаго профессора. Аристократическая дама и гусар не гнушались аудиторіи. Неподдѣльный энтузіазм юношей выражался на лекціях. Я помню лекцію Н. И. Костомарова и других любимых профессоров, почти публичныя. Университетскій зал потрясался от восторга слушателей, юношей охватывал трепет. Они испытывали то, что испытывали люди под первым обаяніем ораторов, мыслителей, проповѣдников истины и науки. Не знаю, повторялось ли это впослѣдствіи. Литература была также любимцею публики. Журналы и журнальныя статьи играли огромную роль и расхватывались по выходѣ. Читатель читал ежедневно газеты с жадностью как чашку кофе послѣ моціона. Новости дня пробѣгали электрическими искрами по Петербургу. В публикѣ на общественных собраніях искали глазами извѣстных писателей и талантов. Быть литератором было завидно, ни одно пятно еще не безславило литературную тогу. Сам литератор высоко держал голову. Когда совершались похороны артиста, как Мартынова или Бозіо, видно было, что это было торжество и время поклоненія интеллигенціи. Диспуты в пассажѣ и в университетѣ по общественным и ученым вопросам будили и превлекали общественное вниманіе. Все жило в Россіи в ожиданіи великой реформы, иначе дышалось, иначе чувствовалось. Когда общественный пульс так высоко был поднят, не могла не раздѣлится той же жизни воспріимчивая молодежь. Студенческая группировка тогда не была рѣдкостью, как и студенческіе кружки.

Но если всѣ русскіе люди были настроены на общественные вопросы, то не могли не почувствовать этих вопросов и отдѣльныя группы, а в том числѣ и окраины. Группировка по землячествам отражала тот бытовой строй Россіи, тѣ разнообразныя интересы, которые лежат в историческом и этнографическом строѣ. Давно уже эту историко-этнографическую связь сознавали малороссы, кавказцы, и. т. д.; наступило время сознать эту связь и представителям восточной окраины. Замѣчательно, что этот ручеекъ мѣстных стремленій и симпатій пробивался в то время, когда русская жизнь кипѣла общими вопросами и была болѣе космополитична, чѣм когда либо. Но это будет понятно тому, кто знаком с исторіей общественнаго пробужденія. В момент жизни всѣ части организма дают себя чувствовать и весной всѣ ручьи оттаивают. Наше собраніе было первым свиданіем сибиряков. На этом вечерѣ не было ни подготовленных заранѣе искусственно вопросов, ни организованных словопреній и рѣчей, все носило

товарищески-семейный характер. В концѣ, послѣ первых знакомств и шумных земляческих изліяній, невольно выступил вопрос о поддержаніи сношеній между земляками, а также о продолженіи собраній; подобная мысль, конечно, была единодушно принята, но затѣм выступил и другой вопрос, дѣлать ли эти вечера доступными и для не сибиряков, допускать ли других лиц, или собраніе сдѣлать только чисто сибирским, земляческим? Вопрос этот, выплывшій внезапно и неожиданно, как всегда у юношей, сейчас же получил нѣсколько рѣшительный и страстный отгѣнок. Присутствующіе, и даже большинство, высказались за то, чтобы собранія были чисто земляческими, а постороннія лица сюда не были приглашаем; этот эпизод поставил в конфузливое положеніе присутствовавших на первом собраніи гостей. Вышло, как будто-бы, сначала их пригласив, потом выключили, но эта неловкость была смягчена юношеским добродушіем и откровенностью. Был и другой эпизод—в собраніи выплыл между прочим и другой вопрос хозяйственный. На собраніях предполагался чай, наконец, нужна была помѣстительная квартира. Вопрос о квартирѣ вырѣшился тѣм, что положили дѣлать студенческіе вечера по очереди, что касается вопроса об угощеніи, то он, от несоразмѣрной важности, получил внезапно комическое направленіе. Он был сведен к вопросу, дѣлать ли вечера с закуской и пивом или без закуски, с одним чаем? Зная студенческіе нравы и юношескіе темпераменты, нѣкоторые здѣсь увидѣли вопрос немаловажный для будущности собраній. Лица, стоявшія за интеллигентный характер собраній, рѣшительно протестовали против закусок, водки и пива, но они оказались в меньшинствѣ и могли отвоевать, как всегда, у радикальной партіи, сохранившей в данном случаѣ наслѣдственные пиршескіе инстинкты своей родины, нѣкоторый компромис и именно, если уже допускать закуски и возліянія, то по крайней мѣрѣ в концѣ собраній послѣ 11 часов. Помню, мы не мало потѣшались над простодушным Омулевским, который употребил не мало діалектики, доказывая, что послѣ долгих патріотических разговоров у него может в глоткѣ пересохнуть. Этот комическій эпизод на сибирском собраніи дал впослѣдствіи пищу рассказам и достиг литературных сфер, причем, говорят, вліятельный журналист Ч. много смѣялся над характером выступившаго вопроса.

В концѣ, мы всетаки собраніем остались довольны; начало было сдѣлано, оставалось поддержать связи. Дѣйствительно, вслѣд за тѣм послѣдовал другой и третій вечер, причем иностранец художник. Джогин предложил патріотической партіи даже свою гостепріимную космополитическую квартиру. Кто то на собраніи непременно пожелал „пельмени“ и пельмени были сдѣланы, а И. В. Федоров-Омулевскій написал к ним шутивное стихотвореніе. Сходки заканчивались веселым пѣніем студенческих пѣсен, которыя продолжались нерѣдко на улицѣ при возвращеніи на квартиры, причем Васильевскіе бутары только слегка качали головой и грозили шутивно пальцем. Времена были патріархальныя, мировых не было, а сердца бутарей то же пребывали умяченными, может быть, благодаря весеннему сезону общественной жизни. Сермяжная броня улыбалась юности.

Рѣшившись собираться, никто не спрашивал и не задавал вопроса: „зачѣм и для чего?“ Этот вопрос казался молчаливо разрѣшенным:

„земляки“—стало быть, как же не видѣться. Наиболѣе заинтересованные судьбою этого сближенія, однако, чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой-нибудь практической задачи; понемногу и они начали являться, но не вдруг, не сразу. Между сибиряками были люди неглупые и начинали думать о судьбѣ своей родины, ея интересах и будущей дѣятельности в краѣ. Конечно, трудно было в молодой студенческой средѣ явиться определенным задачам и, сидя в Петербургѣ еще на школьной скамьѣ, изобрѣтать практическое дѣло. Помню, однако, что на этих собраніях впервые раздавался вопрос о значеніи в краѣ университета и необходимости его в Сибири. Мысль эта всѣм пришла по душѣ. Конечно, в честь этого слѣдовали шумные брудершафты. Здѣсь же в товарищеских разговорах развивалась мысль о необходимости подготовки к будущей дѣятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем сочиненія, являлась мысль составлять библиографію книг сибирских, причем П. брался руководить этим дѣлом, и я долго в своей жизни хранил выписки из каталогов публичной библіотеки, пока эти клочки не разнес вѣтер моей скитальческой жизни. Тот же П. совѣтовал издать календарь или памятную книжку и рекомендовал мнѣ быть издателем, причем я изъясил горячую готовность. Говорили о будущем журналѣ, газетѣ;—словом вопросы росли. В концѣ все соединилось на убѣжденіи и вѣрѣ, что нашей отдаленной окраинѣ предстоит блестящая будущность. Эта вѣра, это горделивое чувство, самосознанія и убѣжденія в том, что и мы члены социальной группы, дѣти страны, имѣющей исторію и будущность, поднимаем дух и нерѣдко исполняли нас юношескаго восторга, закончивавшагося горячим земляческим поцѣлуем.

Эта идея и мысль служить своему краю, любить его, отдать ему жизнь, бывшая источником соединенія, не была исполнѣ новою. Когда то тоболяк-поэт Ершов, как видно из его біографіи, написанной Ярославцевым, так же юношески клялся посвятить себя родинѣ, юношески мечтал поднять ея величіе, он обмѣнялся с каким то другом даже мистическим кольцом по этому поводу. У нас та же мысль проснулась только рѣзче, определеннѣе и, так сказать, в цѣлой группѣ лиц. Конечно, многія из этих мечтаній не могли быть осуществлены; один их забыл, как и свои клятвы, другіе не дожили до осуществленія даже ничтожной части из своих юношеских ожиданій. Так всегда бывает! Но когда-то в жару юности все это казалось так осуществимым, так легко достижимым!

Собранія длились года два при мнѣ; временно они были прерваны небольшим эпизодом разлада, но мысль об них уже не умирала и группировка воскресла вдолгѣ послѣ, хотя и под новой формой. В тѣх собраніях, о которых вспоминаю я, сближеніе началось между лицами разных учебных заведеній и профессій. Здѣсь были медицинскіе студенты братья Ч.,*) в послѣдствіи медики, студенты университета, технологи, появлялись студенты духовной академіи; художники, был военный и кадет горнаго института, который, однако, весьма скоро спасовал и написал нам весьма трогательную исповѣдь о своем исключительном положеніи и о каких-то аргусах своего заведенія, препят-

*) Черемшанскіе.

ствующим ему быть вѣрным сибирскому студенческому кружку. Знакомства однако все болѣе завязывались. Инициаторы собраній поддерживали их. Рѣшились отыскать литераторов из сибиряков; тогда уже пріѣхал в Петербург С. С. Шашковъ и начал пописывать; вспомнили о старом студентѣ-сибирякѣ Сидоровѣ, даровитом математикѣ. Сидоров тот был товарищем Н. С. Щукина,—личность выдававшаяся умом и характером, очень образованный, но эксцентрическій, обнаружившій, впоследствии, подозрительность до болѣзненности и внесшій нѣкоторый разлад. О нем, однако, нельзя не вспомнить.

Сидоров был сначала в педагогическом институтѣ, а потом в университетѣ. Кончив курс, он по своему вспыльчивому характеру разбранился в канцеляріи и ему стоило не мало усилий получить диплом. С товарищем Щукиным он также разошелся. Сам вел жизнь одинокую, бѣдствовал в Петербургѣ, много перенес и, как говорили, стал даже мистиком. Ни специальное образованіе, ни петербургская отчужденная жизнь однако не помѣшали ему любить страстно родину и даже мечтать о ней. Его *idée fixe* был сибирскій университет, которым он бредил и о котором писал; конечно, тогдашніе сибиряки не могли его игнорировать и сдѣлали ему приглашеніе.

Одно лицо только близко знало Сидорова и поддерживало с ним связь, это бурятъ—Пирожков. Будучи незлобным философом, он отзывался о нем, как о симпатичной личности, и говорил, что Сидоров был глубоко несчастен, иногда он видал его, обладавшаго терпѣливой, желѣзной натурой, рыдавшим, подобно ребенку, от душевных мук и неудач.

Я также познакомился с Сидоровым, нашел его беззавѣтно любящим край, человеком очень начитанным, образованным, имѣвшим взгляды и убѣжденія, но с перваго риза уже дала себя почувствовать в нем черта болѣзненнаго самолюбія и неуживчивости. Эта то черта еще болѣе обнаружилась при его сближеніи с нашим кружком и чуть не была причиной его распаденья. Самолюбивый Сидоров увидѣлъ себя старше и выше* головою окружающих юношей, ему захотѣлось повелѣвать, он потребовал себѣ чуть не диктатуры и, конечно, провалился. Внесъ свою подозрительность и нетерпимость, он вытѣснилъ нѣкоторых товарищей своею раздражительностью, а затѣм и сам удалился. Этот непріятный эпизод, нѣсколько нарушившій товарищество, однако, не был причиной распаденья землячества; оно еще продержалось нѣкоторое время; но отсутствіе практическаго дѣла и одна теоретичность, выражавшаяся в падежах и разговорах, не могли дать ему пищи и жизни. Притом и в столицѣ в 1862 г. уже не было такого простора студенческим собраніям. Первый жар и впечатлѣнія этого сближенія исчезли и выступила прозаическая жизнь кружка, превратившая его в обыкновенную буршескую корпорацію.

Тѣм не менѣе мы не раз собирались провожать своих товарищей и земляков, отправляя их домой, на родину. Помню, что в память нашего знакомства мы снялись группой и многіе долго хранили это воспоминаніе студенчества. Как бы то ни было, это первое сближеніе оставило свой слѣд на душѣ многих, оно вспоминалось не раз в жизни, может быть, нѣкоторые обязаны ему были сознательным отношеніем в своей дѣятельности на родинѣ.

Знаю, что значительная часть лиц все таки воротилась на родину, трудилась там так или иначе, причем даже лица, от которых неожиданно многого, участвовали в разных предприятиях, совершали торговые экспедиции, как, напр., благодущный казанец Лосев, служили медиками, учителями и т. д. Из этого же кружка вышли некоторые писатели и патриоты*).

Иные из земляков затерялись и исчезли, волна не успела прибить их к родному берегу и море жизни унесло куда то. Гдѣ погибли они—Бог вѣсть!

Тѣ же, кто испытал счастье еще раз увидѣть родину, тот не раз вспомнит это дорогое время юности и землячeskій кружок, гдѣ, как нѣжный цвѣток, распустилась любовь к землѣ своей и пробудились лучшія человѣческія и стремленія и идеалы.

Продолжая начатыя воспоминанія, мнѣ хочется коснуться нашего литературнаго воспитанія и воспоминать развитіе наших товарищей, выходивших на литературное поприще. Конец 50-х и начало 60-х годов были эпохою, когда литературныя стремленія и страсти охватывали живо общество и всѣх близко стоящих к просвѣщенію. Даже в отдаленную провинцію и в Сибирь проникла струя литературнаго увлеченія. Проѣзжая служащія лица, студенты, появлявшіяся на вѣкат в городах Сибири, завозили новости, слухи, и эти вѣсти в безжизненном обществѣ, среди апатіи, невѣдѣнія звучали тѣм рѣче и неотразимѣе. Кто-то пріѣхал на Амур и закинул вѣсть об освобожденіи крестьян, наѣхали студенты с новыми взглядами и теоріями, проскакал через Сибирь какой то литератор. Помню проѣзд через Сибирь С. В. Максимова и впечатлѣніе, произведенное этим проѣздом; старомодные учителя в нашем городѣ сдѣлали для него литературный вечер, вытащив свои запыленные тетрадки и диссертации. Здѣсь было много комичнаго, чего и не подозревал проѣзжіи, но что раскрылось послѣ.

Суп и пироги готовили в особой квартирѣ и везли через цѣлый город, обдумывали пріем, чтобы показаться „образованными“.—Вѣдь петербургскій литератор! говорил нам, гимназистам, старый учитель и прибавлял, подмигивая:—Литератор, с ним надо ухо остро держать, пожалуй, еще опишет! Так разсуждал самый образованнѣйшій из наших менторов, тот самый, который Пушкина в гороховом пальто видал в лѣтнем саду, а про других и говорить было нечего.

Телеграфа не было, газеты мало читали, журналы также, общество не было еще приучено к чтенію; новость открывалась случайно и внезапно. Нѣтъ, нѣтъ, да кто нибудь и наткнется на новую невиданную книжку, журнала или в „Русском Вѣстникѣ“ откроет такую смѣлую штуку, которая ранѣе и во снѣ не снилась. Правда, и в сибирском обществѣ находились чуткіе наблюдатели и комментаторы новаго вѣянія, но это были избранныя по способностям, или слишком исключительныя, закинутыя в Сибирь, личности, которыя бесѣдовали и предусматривали событія в кабинетах и тѣсном кружкѣ. Общество же было лишено предвѣдѣнія.

Наконец, шлохнулась, помню, и наша старая гимназія. Какими то путями проник в нее Бѣлинскій, за котораго мы с жадностью схва-

*) О наших писателях того времени и их дебютах мы поговоримъ особо.

тились. Странно, он проник к нам помимо рекомендаціи наших учителей словестности, а чего, чего эти учителя не передавали нам на досугъ из своих личных воспоминаній и воспитанія в 40 х. годах. Разсказывали, в каких треуголках ходили; повторяю, нѣкоторые Пушкина в гороховом пальто видѣли в лѣтнем саду, а о Бѣлинском—хоть бы слово. Но товарищи начали знакомиться со многим и другим уже из современной литературы. Я говорил уже, какое впечатлѣніе произвел своим появленіем Шукин*); он первый привез в наш город литературныя новости и развивал кругом любовь к литературѣ. Кружок гимназистов был его поклонником, он добывал всѣ лучшія сочиненія, проливал новый свѣтъ на Гоголя, трогал живыя темы, философствовал, учил, составлял литературныя бесѣды и вечера. На этих вечерах собирався старый и малый. Помню смотрителя кузнецкаго училища Николая Ивановича Ананьина, одного из прекрасных и умных старцев, к которому ѣздил Б-нин**) играть в шахматы; помню даровитаго самородка, управляющаго пріисками и конторю Д..., человѣка с замѣчательными историческими познаньями. Они со Щукиным вели споры и безконечные разговоры, интересуюсь событіями.

У нас, гимназистов, был небольшой кружок, так же чуткій к литературѣ. Мы уже ранѣе кое-что читали, любили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, кое-кто пописывал стихи. Шукин взялся направлять наши литературныя призванія, лелѣял их и поощрял всѣми средствами. В открытіи талантов он доходил до комическаго обольщенія. Встрѣтив, напримѣр, купеческаго сына, пишущаго стихи, он воображал, что открыл поэта и озабоченно говорил, что его опыты надо послать Добролюбову и т. д. Наши дѣтскія произведенія он выслушивал со вниманіем и разбирал, в какой журнал они могли войти. Здѣсь была масса обольщенія, но в то же время это поощряло нас работать и открывать свои призванія.

Сам Шукин был несчастный литератор, писавшій всю жизнь, но печатавшій развѣ $\frac{1}{1000}$ написаннаго. В эту эпоху таланты открывались в глуши экспромтом, эмансипаторы видѣли всюду самородков. Временами дѣйствительно встрѣчались явленія оригинальныя. Помню разсказ И. В. Федорова-Омuleвскаго об иркутском поэтѣ Красноперовѣ. Красноперов этот происходил из мѣщан, заѣхал в Сибирь, был на Амурѣ и по поводу завоеванія Амура написал стихотвореніе или пѣсню, которая быстро разошлась. Узнавъ об этом поэтѣ, граф Муравьев-Амурскій вздумал покровительствовать таланту. Красноперову было за 20 лѣтъ, но его взяли учиться и опредѣлили в гимназію, в 1-ый класс. Будущій поэт однако, согласно возрасту и обстоятельствам, наклонен был болѣе к водкѣ, и воспитаніе не пошло.

Талант его тоже не развертывался. У него были только наброски, очерки и многообщающія способности. Когда мода на него прошла и Иркутск охладѣлъ к пьющему таланту, онъ исчез с горизонта. По разсказам И. В. Федорова-Омuleвскаго, он явился в Петербург и искалъ здѣсь покровительства своему призванію в литературных круж-

*) См. „Литературныя воспоминанія“—выше.

**) Бакувин.

ках. Являлся даже к Некрасову. Показал свои наброски, получил вспоможеніе и снова запил. Так он дѣлал со многими.

Омулевскій передавал, что это был человѣкъ не без таланта, и Некрасов обольстился одним его стихотвореніем: „Солдатка“.

„Солдатку“ эту, недоконченное произведеніе, поэт совал всѣм, общал кончить, но жаловался на недостаток средств. Скоро петербургскіе покровители так же разочаровались в нем, и он опустился в преисподнюю подвалов, ночлежных пріютов и распивочных.

Когда он считался похороненным и я успѣлъ гдѣ то упомянуть о нем, как о погибшем с год назад, тот же Омулевскій замѣтил мнѣ, что Красноперов вовсе не умер и он его еще видѣлъ недавно при оригинальных обстоятельствах.

Он явился раз к Омулевскому и попросил ночлега, что и прежде бывало не рѣдкостью.

— Откуда ты появился? спросил его пріятель.

— Из Мойки прямо, отвѣчал несчастный поэт-неудачник.

— Хотѣлъ топить, да городской, черт его возьми, багром вытащил, да вот бок распорол!.. Дѣйствительно, бок был распорот. Такова была судьба этих призваній! Послѣ этого Красноперов опять исчез и, может быть, покончил уже болѣе удачно в Мойкѣ или Обводном каналѣ.

Омулевскій, нисколько не обольщенный Красноперовым и знавшій всѣ его слабыя стороны, говорил, что это была дѣйствительно натура не без дарованія. У него было чутье к литературѣ, и Омулевскій был поражен раз, когда Красноперов, лежа на пѣчкѣ, сдѣлал ему подробную оцѣнку и анализ романов Рѣшетникова, достойный художника.

Но эта натура, как видим, так и погибла неразвитою и едва была тронута литературным движеніем.

Явившись в Петербург, нас сразу обдало литературным движеніем и охватило страстью к литературѣ. Мы с величайшей жадностью читали все, выходившее из под пера тогдашних писателей. Я сейчас же приобрѣлъ избранную бібліотеку из всѣх лучших произведеній русской литературы. Интересы литературы близко касались тогдашней учащейся молодежи. Мы читали, спорили, философствовали, многих писателей знали в лицо.

На похоронах Мартынова я видѣлъ, как давала мѣста учащаяся молодежь любимым писателям. Помню, толпа задержала около могилы В. С. Курочкина, но вдруг раздалась масса голосов: „Господа, Курочкина, не пускают. Пропустите! вѣдь это Василій Степанович Курочкин!“ Здѣсь же я видѣлъ, в студенческом еще мундирѣ и с моноклем в глазу, тогдашняго поэта, впоследствии „извѣстнаго“ Всеволода Крестовскаго.

Знакомство с литераторами и редакціями у нас завелось не сразу. Мы немало читали, но не всѣ кинулись писать и не всѣ были к этому готовы. Один из самых подготовленных был Г. Н. П—н. Явившись в Петербург учиться без средств, он вынужден был испробовать литературное призваніе и дебютировал не без успѣха.

Его участіе началось в „Русском Словѣ“, гдѣ он помѣстил воспоминаніе о пріисковой жизни, а затѣм „Полгода, проведенные в Алтаѣ“, одно из свѣжих и интересных своих воспоминаній. Гонорар, полученный им, послужил поддержкою его скромнаго существованія.

П. жил подвижнически; получив деньги он прежде всего покупал книг, а затѣм небольшой остаток соразмѣрял так, чтобы едва существовать и иногда довольствовался хлѣбом и квасом. Одновременно он слушал лекціи в университетѣ, и притом курс естественных наук.

Другим литератором из сибиряков, с которым я встрѣтился, был И. В. Федоров-Омулевскій. Его произведенія я читал уже у Щукина в рукописи, который восхищался ими и предсказывал ему блестящую литературную карьеру.

И. В. Федоров в тогдaшнее время был очень молод, талант его развертывался исключительно под вліяніем обличительнаго направленія. Он писал массу сатирических и юмористических стихов, эпиграммы и т. д. Послѣ перваго знакомства он сообщил о намѣреніи создать газету, на подобіе „Искры“, имѣвшей огромное значеніе. Тѣм не менѣе я помню первый его неудачный литературный дебют с сонетами Мицкевича, подвергшимся суровой критикѣ.

Видя нынѣ в покойном, а тогда в юном И. В. Федоровѣ талант, мы не могли не замѣтить всетаки нѣкотораго отсутствія серьезной научной подготовки.

Желая быть современным и тенденціозным, он насилывал себя и усваивал много чисто внѣшним образом. Недостаток этот не исчез у него до самой смерти. К сожалѣнію, тогдашніе корифеи и покровители его развивали и поощряли в нем именно эту сторону, а безыскусственным лирическим произведеніям его не придавали цѣны. Сам Омулевскій, по настроенію тогдaшней жизни, рвался сдѣлаться тенденціозным поэтом, для чего, однако, у него не было самаго главнаго, — серьезнаго образованія, придающаго убѣжденіям силу и извѣстную самостоятельность взгляда. Он мог быть только подражателем в этом родѣ. Заурядная, шаблонная тенденція без подготовки губила только его талант, а с другим родом поэзіи примириться он не хотѣл, как и соразмѣрять свои силы. Оттого в его произведеніях остается так мало безыскусственнаго и самостоятельнаго. Воспитанный извѣстной средой и петербургским руководством, он впослѣдствіи испытал горькую участь быть осужденным за отсутствіе поэтическаго таланта тѣми, кто болѣе всего способствовал невѣрному направленію этого таланта. Не входя в оцѣнку его литературной карьеры, мы должны сказать, что извѣстный талант в нем был, что натура эта была чуткая, впечатлительная, художественная, он любил литературу, воспитывал себя на ней и крѣпко работал. Масса сил его впослѣдствіи ушла на ремесленное добываніе куска хлѣба. Как горько доставался ему этот хлѣб, извѣстно из біографіи и некрологов.

Мы застали его в блестящую пору его планов, надежд. Он был неистощимо весел и постоянно в припадках вдохновенія, хогя иногда и ложно направленного. Жил он, как художник и поэт. П., познакомившись с ним, застал его живущим вмѣстѣ с учеником художественной академіи в маленькой, но чистенькой квартирѣ, с живописным безпорядком. Бывая у него, я припоминаю кучу горшков с красками. Сам И. В. Федоров бывал изящно одѣт, опрятен, деликатен и конфузлив. П. передал мнѣ, что, сдѣлав ему первый визит, он застал его утром со щеткой в руках, что смутило очень хозяина, но он тотчас же отвѣ-

тил гостю фразой.— „Извините, знаете—наш общій друг Теккерей сказал, что, кто не имѣет прислуги, тот сам себѣ комнату метет“.

И. В. Федоров в это время с своей деликатной, красивой наружностью и поэтическим видом был любимцем женщин и, кажется, в его молодости не раз билось его сердце счастливым волненіем от побѣд над женщинами.

Горькая жизнь впоследствии, конечно, стерла эти розы юности. Послѣ И. В. Федорова нашим знакомым и товарищем был выступавшій писатель земляк, Н. И. Н-в*), тогда он еще не был извѣстен разсказами из народной жизни. Пріѣхав в Петербург и начав по обыкновенію, тяжелую, полную лишеній жизнь, он должен был вскорѣ так же приняться за перо и обработать свои наблюденія над солдатскою жизнью, дав нѣсколько очерков в „Свѣточѣ“, издававшемся Милюковым.

Н. И. Н-в имѣл уже опредѣленное призваніе и литературный навык. Он начал писать в гимназій, конечно, с подражаній, писал во время военной службы, упражнялся во всѣх родах литературных произведеній, хотя, конечно вполне по дѣтски, но у него выработался, благодаря этому, литературный слог и манера. Литературный талант его был замѣчен сразу. Помѣстив свои очерки в журналѣ, Н-в получил доступ в один литературный кружок, и я помню его восторженные разсказы по возвращеніи с вечеров, гдѣ он видѣл и такого то писателя и такую то знаменитость. Удачный литературный дебют его по части разсказов из военного быта не устранил однако испытываемой горькой нужды в Петербургѣ и давал только временное и случайное обезпеченіе. Н. помѣщал кое-что в знаменитой „Искрѣ“ и послѣ отѣзда моего дал очерк „На перевозѣ“, гдѣ уже намѣтился род его будущей дѣятельности. Н. был молод, весел и безпечен, как и всѣ мы. Литературный талант тогда однако не гарантировал его от бѣдственной жизни и скоро он должен был отправиться на родину, поступив в коронную службу. Только через нѣсколько лѣтъ он воротился опять к своему призванію. Не менѣе выдающимся дарованіем, хотя и в другом родѣ, заявил себя в Петербургѣ и еще один наш земляк, с которым мы свели тогда знакомство, а именно С. С. Шашков.

Мы услышали о нем через нѣкоторых из учеников духовной академіи. С. С. Шашков, когда мы познакомились с ним, оставил духовную академію и перешел в университет на восточный факультет, гдѣ был однако недолго. Происходя из священнических дѣятелей, как извѣстно из его біографіи, он учился в иркутской семинаріи, а затѣм в казанской духовной академіи, гдѣ был замѣшан в исторіи по поводу панихиды над бездненскими жертвами. Дарованія С. С. Шашкова сказались в дѣтствѣ. В Иркутскѣ он уже писал стихи и сатиры; сатирическое направленіе не оставляло его цѣлую жизнь. Когда мы познакомились с ним в Петербургѣ, он уже успѣл помѣстить кое-что в тогдашнем журналѣ „Вѣк“, издававшемся артельно, и составлял ученыя и историческія статьи. К этому времени относится его монографія о шаманствѣ в Сибири, напечатанная в записках Императорскаго географическаго общества; мы нашли Серафима Серафимовича, нынѣ также покойнаго, серьезным и весьма трудолюбивым юношей.

*) Н. И. Наумов.

Он основательно знал уже нѣмецкій языкъ и читал много путешествій; кромѣ того, у него было основательное знаніе исторіи и привычка заниматься научной литературой. Послѣ П. это былъ самый образованный изъ моихъ земляковъ того времени. Способности у него были блестящія, память изумительная и трудолюбіе замѣчательное.

Застали мы его бѣднякомъ въ квартирѣ дома Фредерикса, среди книгъ и рукописей. Сюда я часто заходилъ къ нему и всегда встрѣчалъ его за какой нибудь очередной работой. Онъ говорилъ мало о своихъ планахъ и произведеніяхъ, надъ которыми работалъ; эта привычка къ сдержанности сохранилась за нимъ на всю жизнь и разъ повела къ непредвидѣнному недоразумѣнію. Я и онъ, нѣкоторое время жили вмѣстѣ, написали по однимъ матеріаломъ почти тождественную статью и послали въ разные журналы. Произошло это потому, что я не зналъ, что онъ пишетъ по тѣмъ же документамъ.

Въ это же время петербургской жизни Серафимъ Серафимовичъ набросалъ нѣсколько очерковъ изъ исторіи Сибири, помѣщенныхъ въ „Библиотекѣ для чтенія“, и сотрудничалъ въ „Очеркахъ“, имѣя знакомство съ Григоріемъ Захарьевичемъ Елисѣевымъ, котораго глубоко уважалъ и цѣнилъ цѣлую жизнь.

С. С. Шашковъ велъ необыкновенно скромную жизнь въ Петербургѣ; познакомившись со студентами, онъ не принималъ никакого участія въ весельѣ и кутежахъ. Живой умъ и юморъ его проявлялись однако часто самымъ блестящимъ образомъ. Онъ пробовалъ свое сатирическое перо въ „Искрѣ“.

Кстати сказать здѣсь, что юмористическія и сатирическія наклонности были общою чертою нашихъ сибиряковъ писателей. Не знаю, имѣетъ ли это связь вообще съ нашимъ характеромъ, но Шаповъ отмѣтилъ черту насмѣшливости у сибирскихъ жителей. Теперь изъ приведенныхъ лицъ я припоминаю, что Шукинъ былъ большой насмѣшникъ въ частной жизни, обличитель по натурѣ, у него было много ироніи въ разсказахъ. П. не прочь былъ поиронизировать добродушно; насмѣшливость, тонкая сатира всегда проявлялись въ произведеніяхъ Г. З. Елисѣева; Н. И. Н-въ слылъ зоиломъ даже въ гимназіи, онъ былъ однимъ изъ юмористовъ „Искры“. Я началъ свое литературное поприще произведеніями въ юмористическомъ родѣ и въ послѣдствіи любилъ памфлетный родъ, даже Федоровъ-Омулевскій пробовалъ себя въ сатирѣ и въ юмористическомъ родѣ, хотя это плохо ему удавалось.

Шашковъ былъ положительно съ сатирическимъ направленіемъ, что мѣшало ему, какъ историку вообще и какъ историку литературы, въ частности; Шаповъ имѣлъ острую обличительную сторону; прибавьте къ этому двухъ сибирскихъ художниковъ-карикатуристовъ, выступавшихъ въ 60 и 70 годахъ, М. С. Знаменскаго и Калганова, и вы увидите, какая доля сатирическихъ призваній располагалась въ маленькомъ кругу сибирскихъ писателей.

С. С. Шашковъ написалъ въ своей жизни немало сатирическихъ стиховъ, въ большинствѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстныхъ въ печати. Дарованія его давали себя чувствовать. Петербургъ его направлялъ на серьезную дорогу, и останься онъ здѣсь, изъ него несомнѣнно вышелъ бы очень видный ученый дѣятель. Я видѣлъ нѣсколько разъ въ жизни, съ какой легкостью онъ усваивалъ и какъ овладѣвалъ языками и различными отрасля-

ми знанія, изучая постепенно исторію, юридическія науки, экономическую литературу, работая по женскому вопросу, а впоследствии отдавшись исторіи литературы. С. С. Шашков много поработал на поприщѣ русской журналистики, хотя всѣ обстоятельства жизни с самого начала не благоприятствовали ему; уже сама петербургская жизнь давалась ему не легко. Можно ли было думать о серьезных научных работах, которыя требовали времени, когда он должен был в то же время обрабатывать свои произведенія в мѣсяц, два, среди лишений; понятно, что он перешел к журнальным компиляціям. Неблагодарный труд, лишения, наконец, явившаяся общая нам всѣм потребность мѣстной дѣятельности, заставила его оставить Петербург в 1863 г., подобно другим. С Казани уже С. С. Шашков был знаком со Шаповым. Шапов в мое время также жил в Петербургѣ, но я раза два всего видѣл его издали и знал о нем через других; среди студентов много рассказывали о его умѣ, огромном талантѣ и необыкновенной оригинальности. Мы знали, что он был наш сибирякъ, привезен из Казани и пострадал. Молодежь к нему льнула. Шашков был его учеником, любил его, но знал всѣ его слабости и относился к нему весьма трезво и даже строго. Одно время они жили на одной квартирѣ, и С. С. Шашков, помню, жаловался на через чур несдержанную его домашнюю жизнь. Шапов часто кутил. Я видѣл его в Павловскѣ, помню его гордую фигуру, отчасти с инородческим лицом, густыми волосами, в циммерманѣ и каком то пальмерстонѣ. В это время Шапов по поводу своих журнальных статей получил письмо от Герцена, письмо это я читал, в нем выражалось сочувствіе литературной дѣятельности Шапова и его направленію. Шапов в это время переживал кризис, он переходил от прежних своих самобытных взглядов и встрѣтился с потоком петербургскаго западнческаго направленія, положившаго печать на всѣ послѣдующіе его труды. С нашим кружком он не был знаком, хотя и послал привѣтъ Сибири и сибирякам по пріѣздѣ в Петербург, в видѣ одного стихотворенія, но это, кажется, был послѣдній вздох его по Сибири. С нею суждено было ему встрѣтиться при ином настроеніи. Что касается моего личнаго литературнаго развитія и знакомства с литераторами, то я постараюсь не слишком об этом распространяться, потому что не пишу автобіографіи. Произведенія мои были очень юны в это время, чтобы передавать исторію их зарожденія. Я много писал в гимназій, вел дневники, сочинялъ повѣсти и стихи, но это было ребячество. Петербургская атмосфера не могла, конечно, не возбудить во мнѣ литературной страсти, но я не рѣшался ничего нести в редакціи, да и не имѣл нужды, как мои товарищи. Надо помнить, что двигает в этом случаѣ все таки, главным образом, нужда. Только три года спустя послѣ петербургской жизни, я познакомился с кружком „Искры“ и отдал Василю Степановичу Курочкину один из своих юмористических очерков. Напечатанная статья ободрила меня, и тогда я дал нѣсколько очерков в ту же „Искру“. Мы скромно отпраздновали с пріятелями первый мой литературный дебют. Мой ментор Г. Н. П-н был весьма доволен, что я вступил на литературное поприще. В В. С. Курочкинѣ я встрѣтил добродушнаго и милаго редактора, никакого генеральства в нем не было. Я часто проводил у него редакціонныя утра и слушал весьма

дѣльные разговоры и пользовался совѣтами и замѣчаніями. Иногда встрѣчалъ здѣсь Степановскаго, Д. Д. Минаева, И. Ф. Горбунова. Должен сказать, что никогда во время посѣщеній редакціи я не видал ничего разгульнаго и распущеннаго. То, что рассказывали о кутежах В. С. Курочкина, совершалось, может быть, в домашнем кругу, за кулисами, но о публичной его дѣятельности я вспоминаю с уваженіем. Это был знаток литературы, замѣчательно образованный человек и дѣятель с неуклонно честными убѣжденіями. Я помню „Искру“ и в хорошія и дурныя времена. Не смотря на то, что дѣла „Искры“ под конец шли плохо, В. С. Курочкин дѣлился с сотрудниками послѣдним. Тѣм тяжелѣе через 15 лѣтъ для меня было встрѣтить этого почтеннаго ветерана литературы в горькой нуждѣ, измученнаго, изнервованнаго в тяжелом положеніи, питавшимся поденной работой, как будто ничего не было за ним, как будто он ничего не заслужил, не заработал и был таким же рядовым, как и выступавшіе на литературное поприще. Жизнь ему улыбнулась на минуту перед концом, когда он был приглашен фельетонистом в „Биржевыя Вѣдомости“, но он был болѣзнен, и скоро смерть покончила с ним. Такова была его участь, как и многих наших писателей. Послѣ „Искры“ я имѣлъ нѣкоторыя сношенія еще с редакціей „Эпохи“, в лицѣ М. М. Достоевскаго; я снес ему большую рецензію на одно сочиненіе о Сибири Ипполита Завалишина, помню, что я работал над ней много, исписал десятки листов, благодаря неопытности и незнанію литературных приѣмов, так, что М. М. Достоевскій, посмотрѣвъ на рукопись, изумился прежде всего ея величинѣ и просил дать ей болѣе подходящій размѣр. Я свою рукопись взял обратно. Это охладило нѣсколько мой литературный пылъ, и я возобновил попытки уже в Сибири. Охлажденіе писательскаго рвенія заставляло задумываться и работать над собою, на других оно не дѣйствовало, хотя помню то непріятное ощущеніе для молодого автора, когда он является в редакцію в первый раз.—„Какую вы статью оставляли у нас?—спрашивал редактор, роясь озабоченно в рукописях. Вы, кажется, принесли „Кавказскую барышню“? Краска бросается в лицо молодому автору. Он написал критическую серьезную статью, которая, по его мнѣнію, должна была произвести фурор, и вдруг его мѣшали в общей кучѣ с „Кавказской барышней“.

В высшіе литературные кружки никто из нас не проникалъ пока, но жизнь и настроеніе тогдашней литературы на нас имѣли неотразимое вліяніе. Едва ли когда либо общество стояло в такой тѣсной связи с литературой, как в то время. Позволю себѣ сказать о нашем литературном воспитаніи. Развертываясь в началѣ 60-х годов, мы усвоили любовь к литературѣ наших предшественников, людей 40-х годов. С точки зрѣнія органическаго духовнаго развитія, общество это было богатое наслѣдіе. Мы, когда то рѣзко разрывавшіе связи со старой литературой, должны сознать в концѣ, что всетаки были многим ей обязаны. Она проложила дорогу и научила общество интересоваться книгой, повѣстью, романом, критикой, поэзіей. Дух романтизма вѣялъ и на нас при всходах нашей жизни, мы усвоили любовь к искусству: хорошіе стихи, прекрасные образы доставляли нам наслажденіе. Мы зачитывались с дѣтства Пушкиным, Гоголем, Тургеневым. Не смотря на отрицаніе эстетики, мы оставались эстетиками и впослѣдствіи воз-

вратились к ней, когда послѣдующее поколѣніе уже ничего не имѣло общаго с ней и потеряло чутье к красотѣ и гармоніи. Вторая черта, которую мы унаслѣдовали, это гуманизм романтиков 40-х годов и стремленіе к идеалу. Этот гуманизм когда то прежде граничил с сентиментальностью, но у людей развитых он имѣл болѣе высшую форму, человѣколюбія и состраданія. Под вліяніем этого гуманизма развивалась масса мягких чувствъ. В нашем воспитаніи, хотя и барческом, эти чувства культивировались, мы были общительны и вѣжливы. Мягкость и гуманизм сохранялись у нашего поколѣнія, несмотря на острую моду 60-х годов с ея базаровщиной, которой всѣ молодые люди в свое время подражали. Базаровщина, однако, была проходящей модой, и люди нашего поколѣнія скоро обнаружили тѣ же привычки лоска и воспитанія. Не то было с другим поколѣніем.

На пути наших идеальных стремленій нас встрѣтила свѣжая литература, охватив новую область жизни общественной. Понятно, что она еще живѣе приковала нас. Неопредѣленные стремленія к идеалу нашли выход, подготовленный к живому и горячему воспринятію общественных вопросов. Мы увидѣли самую тѣсную связь литературы с жизнью.

Литература же в нас затронула стремленіе к знанію и любознательность, когда старая школьная схоластика отвратила нас от книжной науки.

Чувствуя свои пробѣлы, мы охотно принимались за азбуку, изучали естествознаніе, исторію, в вѣк матеріализма многіе изучали Гегеля. Усвоеніе новых теорій не мѣшало знать и изучать предшествовавшее.

В этом отношеніи мы отличались от поколѣнія послѣдующаго, отрицавшаго науку вообще с метафизическим началом и судившаго о литературѣ по одной части ея временнаго проявленія; уваженіе к литературѣ и наукѣ проникло нашу душу вообще, мы никогда не кощунствовали над ними в самыя худшія времена. Напротив, искали здѣсь подкрѣпленія, утѣшенія и вѣры в человѣческій прогресс. Эта вѣра осталась на цѣлую жизнь.

Литература и наука, являвшіяся во всем ореолѣ, покорили на вѣки наши сердца, ибо мы видѣли их в самых лучших проявленіях. Мы понимали и читали литературу, как могучее орудіе для духовной дѣятельности человѣка, для всего общечеловѣческаго прогресса, и не разсматривали ее с одной партійной точки зрѣнія, не презирали ее за уродливый и временный явленія. Мы считали человѣческое слово за лучшее из средств для побѣды знанія над невѣжеством, для торжества идеи, для завоеванія человѣческаго права. Что удивительнаго поэтому, что многіе из нас мечтали сдѣлаться писателями, и литература взяла многих в свои жрецы. Что мудренаго, что многіе до конца служили ей, полагая в этом главную задачу своего гражданскаго долга.

Время перелома, критики старых начал мы пережили живо, отдаваясь ему. Наши земляки, как я замѣчал, были весьма воспріимчивы к новым теоріям, к новаторству, из них выходили самые ревностные прозелиты новых направленій. Я могу объяснить это развѣ тѣм, что сибиряки вообще не имѣют традицій, предразсудков, у них нѣтъ ничего позади, и взор их устремлен вѣчно в будущее. Точно так же они не были лишены твердости и мужества в преслѣдованіи своих убѣ-

ждений. Я почти не знаю из наших товарищей ренегатов и отступивших впоследствии от лучших традиций своей юности, и несчастный полупомѣщенный Шукин составлял исключеніе. Наше поколѣніе в общих теоріях осталось на грани между 60-ми и 70-ми годами. Не воспринявъ крайностей послѣдних, унаслѣдовавъ самыя свѣтлыя и лучшія вѣрованія первых, писатели моего времени перенесли эти лучшія надежды на свою родину и взлелѣвали их. Теорія 70-х и 80-х годов только отвлекала сибиряков от их родины и почти не дала замѣтных дѣятелей на поприщѣ литературы, исключая Кушневскаго, который был скорѣе продуктом нашего же времени. Из общих литературных стремленій выродилась у нас и потребность служить своему краю. Исторія наших мѣстных симпатій и попыток мѣстной литературы должна составить предмет особаго очерка.

Н. Я.

Письма о родинѣ*).

J'oubliais que j'ai tout reçu.
Mon foyer et tout ce qui m'aime.
Mon pain, et mon idéal même.
Du peuple dont je suis issu...
Sully Prudhomme.

Plus on te calomnie,
Plus nous t'aimons.

Посреди современной сумятицы, нареканий, кляуз, среди разнообразных требованій сибирскаго общества и требованій от общества, под вліяніем вопросов, должно ли разсматривать это общество, как апатичный чурбан, с которым и говорить не стоит, или на него нужно смотрѣть, как на нѣчто цѣнное в будущем, среди противорѣчій, сомнѣній и часто огорченій тѣх, кто должен бы знать это общество, среди хаоса понятій и в то же время застоя жизни, невольно рождаются вопросы: да полно, есть ли у нас потребность жить настоящей человеческой жизнью, есть ли силы, которыя могли бы пробудиться и отозваться когда-нибудь грядущему обновленію? Или это общество—мертвое, в котором вѣчно будут заправлять общественным мнѣніем разные Михѣичи, Кондраты, Погонщикивы, Эли Лейбовичи, Чумазые и т. п.—общество недостойное жизни, безнадежное, котораго не примет ни слово обличенія, ни бич сатиры, ни горячее слово любви, ни плач Іереміи... Страшно!..

В эту минуту горьких сомнѣній невольно возвращаешься к тому завѣтному времени надежд и мечтаній, высоких дум и юных сил, когда так горячо вѣрилось в грядущее и творился идеал будущему. Словом, я обращаюсь к прошлым воспоминаніям своей юности.

Мнѣ хочется отдохнуть на этих воспоминаніях именно в то время, когда меня разувѣряют, что в нашем обществѣ нельзя создать ничего, что в нем все продажно, все деморализировано; мнѣ хочется воскресить в памяти иные дорогіе образы, чтобы не потерять окончательно вѣры в жизнь и не утратить послѣдней опоры—надежды. И вот чѣм

*) «Восточное Обозрѣніе» 1884 г. № 49.

болѣе я погружаюсь в это прошлое и переношусь в будущее, чѣм болѣе я размышляю над современным нашим разрывом с обществом, тѣм болѣе мнѣ хочется сказать одним: „боритесь, но умѣйте любить, сокрушая—создавать!“—другим: „если вы порочны, то порочны не настолько, чтобы в вас не было сил стать другими, у вас есть добрые задатки“. Когда я воскрешаю прошлое, предо мной пронесутся иные благородные образы, дорогія тѣни, и я говорю на их могилах: „нѣтъ еще не все погибло и не все деморализировано, я вѣрю“...

Я, помню, как я возвращался в мой родной город, молодой, восторженный: ни одна зимняя снѣжинка не бѣлѣла тогда на моей головѣ, и ни одна печаль не спускалась еще на дно юной души ясной, как весеннее озеро моей родины. Я помню, с какими трепетным чувством подѣзжал я к родному городу, жадно всматриваясь в приближающіяся знакомыя горы: вон онѣ, затаенныя зеленью, с живописными обрывами, вон из синевы лѣса показалась на минуту церковь Басандайки, а потом опять пошли волнообразные берега; мы несемся на тройкѣ, мелькают зеленые луга, усыянные цвѣтами, несемся по ним во всю прыть, а сердце стучит нетерпѣливѣе. Наконец, и перевоз, Томь, широко и гордо раскинувшаяся, вижу я опять родныя, знакомыя и ясныя воды, а там—луга, и город весь в зелени, залитый солнцем, точно праздничный. Узнаю ли его, узнает ли он меня?—так спрашивает себя брат, долго не видѣвший сестру. Кто из нас больше вырос, в ком больше перемѣн? Будет ли родственным свиданіе? Но некогда думать: вон знакомый дом, забор, гдѣ мы лазали, старое дерево... Все смѣнило чувство радостной встрѣчи, радостнаго свиданія, точно Вы очудились в близких знакомых руках и замерли в дорогих поцѣлуях. В то время я безконечно, страстно, горячо вѣрил в свою родину. Чувство это было не совсѣм собственное моим землякам, чувство новое, праздничное, и я не могу не остановиться на нем.

Было время, когда сибиряки тупо оставляли родину, никогда не вспоминали о ней на чужбинѣ и никогда с охотою не возвращались из университетов. Да и что могло заставить вспоминать ее, что—привлечь?—бабушкины пироги, пряженники, кварталный, мелочной купец в лавочкѣ, дѣтскія, давно оставленныя забавы, родная рѣка, лѣс, тайга?—но сибиряки никогда не были романтиками. Может быть, под обаяніем иной жизни, среди блеска и шума столиц и университетских городов и мы забыли бы нашу родину, если бы не вырастили это чувство под лучами пробуждающагося гражданскаго сознанія, не сохраняли заботливо среди всѣх прелестей и обольщеній больших городов, не отогрѣли под холодным щегольским покровом одежды у своей груди и своего тѣла.

Укромно, боязливо собирались мы в свой маленькій кружок во время пребыванія в университетѣ и часто говорили о своем возвращеніи домой. Возвращаться в дикое общество без вѣры, без надежды на будущее, было невысказуемо. Надо было создать эту вѣру, и она явилась сама собой.

Мы утѣшали себя: „Да вѣдь не зачумленный, не проклятый же наш край, вѣдь суждено же и ему будущее! Не выродки же мы из людей вообще, не исключеніе из русских областей... Там вездѣ начинается жизнь, а у нас?“.. И мы начинали мечтать и думать о будущем. И странно, когда мы отрѣшились мыслью от обыденной жизни нашего старого общества, от этих рыботорговцев, кабатчиков, квартальных, Кондратов и Чумазных, когда мы начали говорить об исторіи края, о путях его развитія, тогда этот край удивительно как бы преображался пред нашими юношескими очами.

Он рисовался нам не жалкой тупой средой, но обширными, дѣвственным краем, полным неописанных еще красот и прелестей; мы видѣли жизнь не одних захолустных городов, с их картами и водкой, а могучую жизнь населенія, пролагающаго вѣка пути себѣ, строящаго великій вигвам, совершающаго историческую работу: мы видѣли неисчерпаемая богатства природы, которыя бы могли дать благосостояніе, довольство не только населенію, но и цѣлым поколѣніям. Когда мы с глубокою думою заглядывали в прошлое, мы говорили: „Тяжела была доля наших предков, трудно было покрывать балаган; вѣдь это был народ, тащившійся волоком по рѣкам, прорубавшій лѣса, палившій их огнем, погибавшій в тайгах. Какой тяжкій подвиг выпал на долю перваго смѣльчака, являвшагося в загадочную землю, среди чуждых народов!.. И тѣм не менѣе, этот смѣльчак-народ без средств, без знаній, совладал со своим подвигом: он вынес его на своих плечах. Неужели же в этой странѣ не будет больше сил для лучшей гражданской жизни? Вѣдь безграмотный, безпомощный казак и мужик пролагали дорогу к океанам! Этот землепроход, ремнями собственной шкуры отмежевал географическое пространство в 200 слишком тысяч квадратных миль? Что же бы сдѣлал этот народ-богатырь, если бы ему дали просвѣщеніе?“

Когда мы начинали читать, то помним наше изумленіе, открыв в первый раз аналогію, что мы „колонія“, чуть не будущая Америка! Мысль наша спѣшила охватить это будущее: край отверженный, край, у котораго отнималось все, который сравнивался с тундрой, ничего не производящій, как доказывал Герсеванов и другіе в 40-х годах, край, признававшійся ледяным краем, был открыт для нас самих. Вѣдь мы сами с чужих уст были убѣждены, что это край пропащій, и, как поэт Ершов, могли воспѣвать его только как край буранов. Это был край печальный, про который когда то сказал историк Словцов: „Сколько слез пролито на землѣ твоей, и стал ли ты счастливымъ, несчастный!“ И вот этот край, отверженный, поруганный, должен имѣть будущее? Развѣ это не было открытіе? Развѣ эта мысль не могла тронуть сердца, которыя еще не остыли от воспоминаній, которыя не зачерствѣли и не забыли, что это ледяное ложе было для них теплою колыбелью.

Тогда нас охватили юные восторги: сердце, робко таившее любовь, которой оно стыдилось, нашло выход. Это сердце теперь могло любить открыто, если ненастоящее, то будущее своей родины. Земля, гдѣ, казалось, не было дѣла, преобразилась. Мечты несли нас на родину, которая рисовалась для нас страной, общающей многое. Мы видѣли, какая масса труда, работы требовались здѣсь. „Центры про-

свѣщенія и без того кишат людьми, сказали мы, сюда привлекается; все лучшее, даровитое: что удивительнаго, что тянутся и наши. Мы знаем, что здѣсь жизнь счастливѣй и слаще, работа дружнѣй и легче не загложнет, не погибнет от безлюдья и тоски здѣсь человѣкъ, ярче будет здѣсь горѣть засвѣтившаяся звѣзда таланта, легче идти по проторенным и указанным дорогам, яснѣе видѣн обеллиск грядущаго, ближе конец вавилонской башни. Пусть все это так!

Но хоть и краше, выше небо,
Иной судьбой нам жребій дан.

Нам дороже будет тот край, гдѣ не было участія, гдѣ дѣти покинули осиротѣлую мать, гдѣ нѣтъ проторенных дорог, но дѣвственная пустыня, поражая величіем, манит открывать новыя тропы, гдѣ ни один скульптор и художник не коснулся дѣвственных красот природы, которая сіяет во всей своей дѣвственности и ждет, чтобы смѣлая рука сдернула таинственное покрывало с полотна. Здѣсь была пустыня, гдѣ безвѣстно погибал человѣкъ. но мы желаем здѣсь создать живой міръ, міръ волненій и страстей. Как Генрих IV у Шекспира, мы наполнили видѣніями грядущаго нашу настоящую тюрьму. Мы не беремся создать солнце, но пусть наши звѣзды теплятся для нас ярко на прозрачном небѣ нашей родины, и когда нибудь они образуют брилліантовую діадему.

Мы не будем завидовать вашей славы на готовых міровых путях, срывайте золотыя лавры, удовлетворяя своему гигантскому честолюбію, мы удовлетворимся меньшим и возьмем себѣ скромный кедровый вѣнок суровой родины. Пусть легко и гладко совершается ваша побѣда, а наши подвиги останутся безвѣстными. Вам будет вторить коллизей, нам—эхо наших гор. Пусть другіе любят то, что облюблено, мы будем любить то, что покинуто, что доселѣ не находило человѣческаго отклика ни в одной груди, но также ищет любви. Мы будем любить любовь, которая не требует награды и не ощущает боли. Отнынѣ, дорогая земля, дорогое отечество, мы возьмем всѣ твои боли, отнынѣ мы будем цѣнить твои радости, и если ты нанесешь уколы нам, мы скроем руку с струящейся кровью, как дѣлаю это я в эту минуту. Вот тот завѣтъ, который слагался в наших юных душах, который мы приняли восторженно в нашем дѣтствѣ. Понятно, с какими чувствами мы ѣхали в первый раз на родину! И вот, когда я, возвратясь, блуждал по знакомому городу, меня уже не занимали болѣе развалины, руины, погорѣлыя мѣста,—иной міръ был в очах моих, мысль моя создала... Что мнѣ эта старая каланча, этот разрушенный театр прошлаго, когда я видѣлъ, что здѣсь создается палладіум будущаго. Все преобразалось в глазах под милой иллюзіей, я не видѣлъ кабаков Пастухова, лавок и магазинов елабужцев, я не видал их, как художник, видящій Мадонну, не видит злых духов, как дѣвственница не знает о существованіи домов разврата. Что мнѣ был этот рынок, этот базар, с которым я не имѣлъ ничего общаго! Развѣ этот базар, со своими гнилыми ситцами, огурцами и рябчиками, создает жизнь? Развѣ это тѣ храмы и божества, которыя наполняют сердца людей и возьмут будущее? Вон старый земскій суд и старая полиція, лысый квартальный, бѣгущій в лавочку выпросить у лавочника голову сахару, вот судья, идущій

щей пить водку. Но что мнѣ до этого? Развѣ все это не отжило свое время перед идеалом грядущаго? Развѣ все это не отпѣл еще Гоголь и не похоронил, а если это все еще торчит у нас под носом, то развѣ не по недоразумѣнію? Развѣ с продранными локтями, писец, с одуловатым лицом и запахом чесноку, как и сам квартальный, претендуют на безсмертіе? Стоило ли обращать на них вниманіе, волноваться, когда взор смотрѣлъ вдаль и там на темном фонѣ уже видѣлъ свѣтлый обрис кораблей грядущаго?

Развѣ можно вѣрить и представлять себѣ, чтобы общество вѣчно рождало кабатчиков и квартальных и никого болѣе. Блуждая, я увидѣлъ наш старый дом, Вон, знакомая Шведская гора, с крестом умершаго давно коменданта, это был храбрый сибирскій комендантъ, никогда не сдававшій крѣпости, потому что ее никто не брал, он умер в тиши, обѣявшись черемухи. Все дѣтство я провел на его могилѣ и получил первый урок исторіи. Вон, свѣтлый ключ, быющій из горы, куда мы бѣгали дѣтьми и жадно пили хрустальную воду в лунныя ночи; эта родная гора открыла мнѣ первыя тайны прозрачных ключей под нашей почвой. Этот ключ такой же чистый, также бьет и теперь, как и в нашем дѣтствѣ. Послѣдующія поколѣнія придут к нему, и вода не измѣнится. Я узналъ и наш сад, тѣнистый, чудный сад, мѣсто дѣтских грез и фантомов. Какіе призраки, какія страшилища окружали нас, когда мы в нем бѣгали дѣтьми в лѣтніе вечера! Эти кусты черемухи и рябины цѣпляли нас вѣтвями, а бѣдные сонныя воробьи, падавшіе с деревьев от нашего шума, приводили нас в неописуемый трепет. Впослѣдствіи эти падающіе воробьи так часто напоминали мнѣ страх соннаго обывателя, задѣтаго корреспонденціей и обрушивающагося всею тяжестью на корреспондента. И вот этот сад теперь стоялъ предо мною, не имѣющій ничего заколдованнаго, я вижу только его свѣжія поросли, его густоту, вижу всходы новой жизни, манящую меня, яркую, молодую зелень. Знакомыя лиліи кивали мнѣ в этом саду головками, как когда то прежнія лиліи дѣтства, из которых я плел вѣнки. Прошло много лѣтъ. Ясный покой души смѣнили бури, сердце, когда то бодрое, истерзано тревогами. В душѣ ползают сомнѣнія. В это время меня влечет найти облик прошлаго. Так мы ищем потерянную любовь юности и, встрѣчая ее, смотрим с тоскою на исхудалую дорогую руку, собираясь поднести ее со слезами к своим губам. Мнѣ хочется также вызвать дорогіе образы, видѣть улыбающуюся природу, видѣть этот сад и спросить: так же ли они ласковы к молодому поколѣнію? Будут ли они внушать тѣ же чувства, какія внушали нам, другим, когда мы с старым комендантом будем рядом лежать на Шведской горѣ?..

Старый сибирякъ.